

Глава I. От «премухинской гармонии» до категорий Гегеля

“Бакунин во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что переживает все его недостатки, — это вечно движущееся начало, лежащее в глубине его духа.

В. Г. Белинский

Михаил Александрович Бакунин происходил из старинной дворянской семьи. Первым известным предком Бакуниных был дьяк Никифор Евдокимов, числившийся с 1677 года московским дворянином. Правнук его Михаил Иванович служил при Петре I кохмендантом в Царицыне. Внук Михаила Ивановича — Михаил Васильевич — пошел по служебной лестнице значительно дальше. При Екатерине II он был действительным статским советником и вице-президентом камер-коллегии. Был он к тому же богат, смел и нрав имел необузданный. Женившись на княжне Мышецкой и выйдя в отставку, он поселился в Премухине Нозоторжского уезда Тверской губернии.

Обширный помещичий дом, огромный старинный запущенный парк, красивая каменная церковь, построенная по проекту известного архитектора Н. А. Львова, и 500 душ крепостных крестьян — все это досталось в наследство одному из его сыновей — Александру Михайловичу Бакунину.

Получив образование за границей, защитив философскую диссертацию в Падуанском университете, Александр Михайлович долго служил при российских посольствах в разных государствах Италии. В конце царствования Екатерины II он с чином надворного советника вышел в отставку и возвратился в Россию.

Поселившись после 1812 года в своем имении, он занялся хозяйством, не оставляя, однако, и занятий умственных. Особый интерес его вызвала отечественная история. Он много читал, делал выписки, а позднее, в 1827 году, завершил свою «Историю России». Написал он также «Опыт мифологии русской истории», комментарии к древнерусскому летописному своду и еще несколько исторических работ. Все они, как и его поэма «Осуга»[3] и множество стихов, не предназначались для печати и до сего времени хранятся в рукописях в

Пушкинском доме.[4]

Лет десять спустя после возвращения из-за границы, будучи уже немолодым (40 лет), он неожиданно влюбился в восемнадцатилетнюю Варвару Александровну Муравьеву. Не рассчитывая на успех у своей избранницы, он было решил стреляться, но сестра его Татьяна Михайловна Полторацкая взялась устроить его счастье. В результате Варвара Александровна приняла предложение Александра Михайловича, и брак их оказался действительно счастливым.

Из одиннадцати детей, рожденных в первые четырнадцать лет их семейной жизни, десять остались живы. У Бакуниных было четыре дочери: Любовь, Варвара, Татьяна, Александра, и шесть сыновей: Михаил, Николай, Илья, Павел, Александр и Алексей.

Михаил был старшим из братьев. Родился он 18 мая 1814 года.

Александр Михайлович стремился создать в Премухине особый мир — мир интеллектуальных интересов, искусства и душевной гармонии.

В известной мере это удалось ему. В семье царила атмосфера, в которой наиболее полно могли развиваться душевные и умственные способности детей. Литература, музыка, живопись с ранних лет естественно входили в круг их интересов. Не последнюю роль играли рассказы отца — человека широко и разносторонне образованного. Он занимался с детьми естественной историей, физикой, космографией, географией и историей.

Вот как описывал Александр Михайлович в поэме «Осуга» премухинские вечера:

“ Когда вечернею порою
Сберется вместе вся семья,
Пчелиному подобясь рою,
То я счастливее царя.

...Кто с книгою, кто с рукодельем
Беседуют вокруг стола,
Мешаячи дела с бездельем,
Чтоб не сойти от дел с ума.

Михаил Бакунин, впоследствии вспоминая жизнь премухинского дома, напишет: «Да, батюшка, воспоминания о вас и любовь к вам, премухинский дом, сад и окрестности, любовь, и природа, и наслаждение природою, и детство наше — все это составляет наше неотъемлемое сокровище и чуть ли не лучшую эпоху жизни нашего семейства».[5]

Свободное воспитание, которое отчасти под влиянием идей Руссо давал детям Александр Михайлович, любовь и природа, религия в ее опоэтизированной и внешнеобрядовой форме, атмосфера нравственной чистоты и известной патриархальности — все это в тех условиях и создавало обстановку душевной гармонии в семье Бакуниных. Особое влияние премухинский мир имел на сестер Мишеля, он отвечал их склонностям, стремлению ко всему возвышенному, прекрасному.

До 14 лет старший сын Михаил воспитывался дома. Обстановка Премухина, система воспитания, навыки, приобретенные в детстве, — все это оставило глубокий след в его сознании. Музыка и живопись особенно занимали его.

О способностях юного Мишеля к рисованию свидетельствуют два сохранившихся его автопортрета, а также сделанный позднее портрет Гегеля.

Чистое юношеское лицо, большие внимательные глаза, а внизу рисунка голова бычка, взгляд которого как-то перекликается со взглядом самого Мишеля и придает иронический характер всему рисунку, — таков первый из автопортретов. Второй, сделанный акварелью, помогает представить себе внешние данные нашего героя уже в более зрелом возрасте. Темные каштановые выщипанные волосы, прозванные позднее современниками львиной гривой, большой рот, беспокойный и пытливый взгляд голубых глаз, лицо скорее неправильное, но оригинальное и запоминающееся, — таким стал он в пору своей молодости.

Занятия Мишеля музыкой выходили за рамки, принятые в светском обществе. Играл он много и серьезно, а главное — глубоко понимал и любил музыку.

Любовь к музыке, стремление к простоте и естественности, а также известную долю романтичности вынес Бакунин из премухинского дома и сохранял в течение всей жизни.

В конце 1828 года, 14 лет от роду, был он отправлен отцом в Петербург для того, чтобы поступить там в артиллерийское училище. «Из родного премухинского мира я вдруг попал в новый совершенно чуждый мне мир» (т. II, стр. 106), — писал он впоследствии отцу. Нравы, царившие в училище, в которое он поступил, сдав экзамены осенью 1829 года, резко отличались от всего, что окружало его ранее. «Я вдруг узнал всю черную, грязную и мерзкую сторону жизни. И если даже не впал в пороки, которых я был частый свидетель, то по крайней мере привык к ним до такой степени, что они не только не приводили меня в омерзение, но даже не удивляли меня. Сам же я привык лгать, потому что искусная ложь в нашем юнкерском обществе не только не считалась пороком, но единогласно одобрялась» (т. II, стр. 107).

По просьбе одного юнкера он подделал два векселя и сам сделал несколько долгов. История эта, получившая огласку и ставшая известной отцу, вызвала глубокое раскаяние у Мишеля, так как чувство порядочности не было чуждо ему. Но возможно, тогда и было положено начало легкомысленному отношению к чужим и своим деньгам.

Юнкерская среда, однако, не затянула Мишеля. В месяцы, предшествующие экзаменам, он много и с увлечением занимался.

В январе 1833 года Бакунин был произведен в офицеры и переведен в офицерские классы. Теперь его связывала с артиллерийским училищем лишь необходимость посещать занятия. Жил же он на частной квартире у своей тетки.

«Кроме классов, я почти не виделся со своими товарищами, я разорвал с ними почти все отношения; присутствие их напоминало мне всю пошлость и подлость моего прежнего

состояния.

В это время я вообразил себя влюбленным в Марию Алексеевну Воейкову. Это чувство, хотя и призрачное, хотя и совершенно детское, было первым решительным пробуждением моей духовности... Жизнь, сильная, благородная жизнь заиграла во мне. Я, до тех пор ленившийся, до тех пор не заботившийся о своей будущности, решился работать над собой, переделать себя» (т. II, стр. 108).

Этот призрачный роман был недолгим, и вскоре новые женские образы пленили его воображение, однако для эмоциональной натуры Мишеля эпизод этот действительно не прошел бесследно.

«Интеллектуальная революция», началом которой явилось чувство к М. А. Воейковой, была продолжена под влиянием нового окружения Мишеля. Осенью 1833 года, вернувшись из летних лагерей, Бакунин близко сошелся с семьей Николая Назаровича Муравьева, друга и родственника своего отца. Сенатор и главноуправляющий собственной его величества канцелярией Н. Н. Муравьев в 1832 году выходит в отставку и поселяется с семьей в имении Покровском близ Петербурга. Старший сын его, Николай, будущий граф Амурский, сыгравший впоследствии важную роль в жизни Бакунина, не живет в это время с отцом, а управляет его имением в Виленской губернии.

Мишеля в семье Муравьевых привлекает как сам Николай Назарович, так и общество его дочерей — девиц милых и образованных. Почти каждый день навещает теперь Бакунин в Покровское. До чая он проводит время с дядею, потом остается с кузинами. Идет разговор о литературе, об истории, о науках, кухни играют на фортепьяно.

Но визиты в Покровское не поглощают целиком 19-летнего Мишеля. Много времени он уделяет занятиям русским языком, русской историей и статистикой; предается размышлениям о счастье и смысле жизни. Неожиданно наступает перемена.

Однажды на улице, одетый не по форме, Бакунин встречает начальника училища генерала Сухазанета.

— Уж если надел ливрею, то носи ее как полагается, — говорит ему генерал.

— Я не надевал ливреи и надевать ее не собираюсь, — ответил, вспыхнув, Бакунин.

Сухазанет не мог простить этой дерзости молодому офицеру. Не дав ему окончить офицерских классов, он направил Бакунина в одну из армейских артиллерийских бригад, квартировавших в местечке Молодечно Минской губернии.

Осенью 1834 года бригаду, в которой служил Бакунин, перевели в Гродненскую губернию. Здесь служба не занимала много времени. Взвод Бакунина был расположен по деревням, рядовые находились в работе по хозяйственной части, и ими занимался ротный командир. Предоставленный самому себе, Бакунин продолжал свое образование: много читал, совершенствовал знания в немецком языке, занимался польским, географией и физикой. Однако необходимость жить в глуши и общество армейских офицеров тяготили его. Он и

его родные хлопотали о переводе, но безуспешно.

В начале 1835 года Бакунин получил командировку в Тверь, откуда направился в Премухино. Здесь он решил сказать себя больным. Ему было предложено подать в отставку, чем он немедленно и воспользовался.[6]

С выходом в отставку началась новая полоса жизни Михаила Бакунина. Стремление к серьезным занятиям, к этому времени твердо укоренившееся в нем, привело к тому, что, отказавшись от статской службы (на чем особенно настаивал отец), он решил посвятить себя научной деятельности.

В январе 1836 года он окончательно перебрался в Москву, где ранее бывал лишь наездами.

В истории русской общественной мысли 30-е годы XIX века период особый.

Подавленное восстание декабристов наложило свой отпечаток на последующие десятилетия освободительного движения. Поиски новых путей и средств борьбы характеризовали дальнейшее направление общественной мысли. В 30-е годы это были лишь первые, часто робкие попытки.

Общественная и революционная мысль, достигшая в середине 20-х годов наивысшего для того времени взлета, теперь в условиях жестокой реакции, была отброшена далеко назад. Реакционная идеология самодержавия, напротив, достигла, казалось, своего апогея.

Именно в 30-е годы министр народного просвещения граф С. С. Уваров провозгласил свою широкоизвестную формулу «православия, самодержавия и народности», утверждавшую и укреплявшую «охранительные начала».

Именно в эти годы наибольшим успехом у публики пользовались драмы Кукольника, романы Загоскина и Булгарина, пропагандировавшие в доступной широкому читателю форме эти «начала».

Правда, в это же время выходили в свет главы «Евгения Онегина», но многие вольнолюбивые стихи Пушкина продолжали ходить по рукам лишь в списках, Полежаев за свое творчество был отдан в солдаты, Чаадаев за «Философическое письмо» объявлен сумасшедшим.

Вдумчивый летописец эпохи, цензор А. В. Никитенко оставил грустную характеристику этого времени. «Когда мы увидели... что от нас требуют безмолвия и бездействия, что талант и ум осуждены цепенеть и гноиться на дне души... что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка, — когда, одним словом, нам объявили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями; что оно приемлет в свои недра одну лишь бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основе которого позволено действовать, — тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело».[7]

Слова Никитенко справедливы. Однако нравственное оскудение распространялось не на всех представителей поколения 30-х годов. Среди молодежи были и люди мыслящие, упорно ищущие ответа на важнейшие вопросы общественного развития.

Одни из них пытались, хотя бы теоретически, поднять знамя, выпавшее из рук декабристов, другие в проблемах философии, этики, а порой и в отвлеченных моральных категориях искали ответа на мучительные вопросы современности. Первые — в лице Александра Герцена и его друзей — уже в 1834 году поплатились за свои попытки тюрьмой и ссылкой, вторые — в лице Николая Станкевича и его круга — продолжали свои философские дискуссии. Примкнув к этому последнему кругу, Бакунин особенно сблизился с его главой — Станкевичем.

Сын богатого воронежского помещика Николай Владимирович Станкевич к тому времени уже окончил Московский университет, имел более или менее определенную систему взглядов. «Станкевич, — пишет его биограф П. В. Анненков, — действовал обаятельно всем своим существом на сверстников: это был живой идеал правды и чести, который в раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостью, живо чувствующей свое призвание».[8]

Для И. С. Тургенева Станкевич стал прототипом образа Покорского в романе «Рудин». Характеризуя своего героя, Иван Сергеевич писал:

«Поэзия и правда» — вот что влекло всех к нему. И далее две строчки из стихотворения «одного полусумасшедшего и милейшего поэта нашего кружка»:[9]

“ Пылал полуночной лампадой
Перед святынею добра...

Молодые люди, собиравшиеся у Станкевича, угощаясь чаем со скверными сухарями, при сальной свече ночи напролет беседовали, спорили. «В глазах у каждого восторг и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии»,[10] — так изображал эти вечера Тургенев.

Среди тех, кто составлял кружок Станкевича в начале 30-х годов, был молодой историк С. М. Строев, выступавший позднее в печати в духе скептической школы историка Каченовского; П. Я. Петров, ставший позднее известным знатоком восточных языков и профессором Казанского университета; поэт В. И. Красов, учившийся на одном курсе со Станкевичем и печатавший свои стихи в «Телескопе»; А. П. Ефремов, кандидат словесных наук и наиболее близкий друг Станкевича; К. С. Аксаков, по характеристике Анненкова, тогда «германизирующий философ», а по словам Белинского — «благороднейший, честнейший юноша», но имеющий «узкость, китаизм, несмотря на глубину духа»; поэт И. П. Ключников и, наконец, В. Г. Белинский.[11]

Какие же интересы объединяли этих молодых людей?

Обратимся к свидетельству К. Аксакова: «Кружок Станкевича отличался самостоятельностью мнений, свободой от всякого авторитета...

В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большею частью отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма — все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект...

Кружок этот был трезвый и по образу жизни не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко, и, что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил ни фрондерства, ни либеральничания, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которая была ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало...»[12]

«Исключительно умозрительным» назовет Герцен направление этого кружка. Однако «умозрительность» эта была скорее внешней. Проблема человека, его назначение — вот что вполне реально волновало Станкевича и его друзей. «В человеке жизнь создала себя отдельно. Он весь центр этой жизни в миниатюре. Разум, воля, чувство — три действительные направления человеческой жизни, которые он переносит в жизнь всеобщую».[13]

Эти мысли высказывает Станкевич, еще не читая Шеллинга. С немецкой философией он знакомится по Кузену и, лишь окончив университет, в 1834 году приступает к изучению в подлинниках сначала Шеллинга, а затем Канта и Фихте.

Вот в этот период, а именно в октябре 1835 года, к кружку Станкевича и присоединяется Бакунин. Знакомство двух молодых людей произошло еще в марте 1835 года у Бееров в Москве, но обстоятельства сблизили их несколько позднее, во время визита Станкевича в Премухино.

Семья Бееров с начала 20-х годов поддерживала дружеские отношения с Бакуниными. Особенно близкая дружба завязалась между сестрами Наталией и Александрой Беер и молодым поколением Бакуниных.

Станкевич был частым гостем в московском доме Бееров. Бывали здесь Красов, Ключников и другие друзья Станкевича. Разговоры шли вокруг новой западной литературы: Гёте, Шиллера, Жана-Поля Рихтера, Бальзака, Сю. Из русских авторов наибольший интерес вызывали Пушкин, Баратынский, Кукольник, Полевой. Станкевич, Красов и Ключников нередко читали свои стихи, романтические, изящные и несколько сентиментальные.

Романтизм в те годы был распространен не только в литературе. Весь строй отношений молодых людей был пронизан романтическим мироощущением. Стремление к идеальной любви и дружбе, чрезвычайно эмоциональное и по форме часто сентиментальное выражение своих чувств и мыслей было обычным и естественным для идеалистов 30-х годов. Этому стилю отдали дань в молодые годы и Герцен, и Бакунин, и Белинский, и, конечно, Станкевич. Любовь в ее всеобъемлющем смысле воспринималась им как основа

жизни. «Любовь!.. Друг, мой! — пишет он Неверову в 1832 году, — для меня с этим словом разгадана тайна жизни. Жизнь и есть любовь. Вечные законы ее и вечное их исполнение — разум и воля».[14] Эти слова в различных вариациях не раз будут потом повторены Бакуниным, хотя о прямом заимствовании здесь нет речи.

Однако ни сам Станкевич, ни друзья его не могли, естественно, избежать и другой, вполне конкретной, земной любви. Так, Наталия Беер увлеклась Станкевичем и очень страдала от тех форм идеальных отношений, которые предлагал ей молодой философ. Сам же он вскоре также не смог избежать стрел Амура. Предметом его сильного увлечения стала Любовь Бакунина. Эта девушка, как и другие сестры Мишеля, не отличалась внешней красотой, но спокойствие и грация, свойственные ей, по свидетельству Белинского, и особое душевное обаяние привлекали к ней.

Познакомившись с ней у Бееров, Станкевич захотел побывать в Премухине.

Имение Бакуниных к этому времени стало притягательным центром для многих молодых людей. Образованные, прекрасно воспитанные, милые и неглупые молодые девушки придавали премухинскому дому аромат изящества и интеллектуализма.

Вот как отзывались о Бакуниных современники: «Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, — писал И. И. Панаев, — принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит».[15]

«Бескорыстно любишься этими девушками, — писал Н. В. Станкевич, — как прекрасными созданиями божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удержать эти ангельские лица, чтобы глядеть на них, когда тяжело на душе... еще хочешь... не другого какого-нибудь чувства... хочешь уважения от них, чтобы они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей...»[16]

В конце октября 1835 года поездка в Премухино, о которой уже несколько месяцев мечтал Станкевич, состоялась. Любовь Александровна, хотя в душе и отвечала взаимностью молодому философу, была с ним крайне сдержанна и ничем не выдавала своих чувств. Глубоко разочарованный в своих надеждах, Станкевич в то же время получил неожиданное утешение. Он подружился с Мишелем (находившимся в те дни в Премухине). «Чистая и благородная душа», — написал он о нем Неверову. Так при весьма романтических обстоятельствах началась дружба, которой суждено было сыграть большую роль в дальнейшем развитии обоих молодых людей.

Мишель тем временем переселился в Москву. Пойдя против воли отца и отказавшись от службы, он не мог теперь рассчитывать на материальную помощь со стороны семьи. Бакунин решил, что сможет обеспечить себя уроками математики и физики. С этой целью он посетил одного из своих родственников, графа Строганова, бывшего в то время попечителем Московского учебного округа, и, получив разрешение давать уроки, заказал себе визитные карточки с обозначением профессии — учитель математики. Затем он разнес эти карточки по своим родственникам и высокопоставленным знакомым. Этот поступок не

столько обеспечил его уроками, сколь вызвал скандал в среде, где сыну известного всем Александра Михайловича Бакунина зарабатывать хлеб уроками считалось непристойным. Но это обстоятельство мало беспокоило Мишеля.

Серьезные занятия философией, поездка за границу для усовершенствования знаний и в итоге занятие университетской кафедры — такова была его программа.

Решение старшего сына посвятить себя занятиям философией огорчили Александра Михайловича, который ко всем философским суждениям молодежи относился скептически. 27 января 1836 года Александр Михайлович писал сыну: «Я получил письмо из Москвы и вижу, что та же горячка в голове твоей продолжается, а сердце молчит. Отъезд твой не столько удивил, сколько огорчил меня. Истинная философия заключается не в мечтательных теориях и пустословии, а в исполнении семейных, общественных и гражданских обязанностей нашего быта, а ты увлекаешься химерами, пренебрегаешь ими и толкуешь о какой-то внутренней жизни, которая все тебе заменяет; а между тем сам не знаешь, куда от себя деться. Эта хандра, которая тяготит тебя, — необходимое последствие оскорбленного самолюбия, праздной жизни и беспокойной совести».[17]

В этом суровом письме Александра Михайловича в полной мере выражена основная идея вечного конфликта отцов и детей. И хотя упрекам его («пустословие», «химеры» и пр.) нельзя отказать в некотором основании, но в то же время нельзя и не видеть полного непонимания естественного стремления молодого человека понять и самостоятельно, через свой личный опыт, осмыслить жизнь, ее назначение, ее цели.

А размышления Мишеля над смыслом и назначением жизни уже в эту пору приняли определенное направление, в последующие годы лишь развивавшееся в связи с изучением тех философов, система взглядов которых отвечала внутреннему настрою молодого мыслителя.

В исторической литературе, под влиянием прежде всего свидетельств Герцена и Анненкова, утвердилось неверное представление о том, что молодой Бакунин ко времени сближения со Станкевичем не имел никаких собственных философских представлений и был «засажен» последним за изучение немецкой философии и прежде всего Гегеля. Но обратимся к свидетельству самого Бакунина и посмотрим, как он выражал свое кредо еще до сближения со Станкевичем. Это письмо от 7 мая 1835 года к Наталии Андреевне Беер. (Обе сестры Беер в это время стали близкими друзьями Мишеля и восторженными слушательницами его философских бесед.) «А в чем заключаются основные идеи жизни? — спрашивает он свою корреспондентку и тут же отвечает: — Это любовь к людям, к человечеству и стремление к совершенствованию...

Что же такое человечество? Бог — заключенный в материи. Его жизнь — стремление к свободе, к соединению с целым. Выражения его жизни — любовь. Этот основной элемент вечного» (т. I, стр. 170).

В этом письме вполне конкретно, хотя и наивно-идеалистически, выражены определенные религиозно-философские представления, и, что особенно важно, представления эти во

многим совпадают с мыслями по этому поводу Станкевича. И тот и другой стремятся подчинить материальную природу идее, и тот и другой основу жизни видят в любви, и тот и другой приходят к подобным мыслям независимо друг от друга и от немецкой философии, с которой они еще не знакомы.

Не удивительно, что совпадение взглядов обуславливает и их близкую дружбу и их совместное серьезное занятие немецкой философией. Очевидно, объект изучения был подсказан Станкевичем. Еще ранее, прочтя Шеллинга и постигнув сущность его системы, убедившись в определенной правоте своих представлений, Станкевич пришел к выводу, что для того, чтобы возвести «свое горячее убеждение на степень знания, надобно хорошенько изучить основание, на котором утверждается новая немецкая философия. Это основание — система Канта».[18]

В ноябре 1835 года Бакунин и Станкевич начинают изучение «Критики чистого разума» Канта. Ефремов и Ключников пытаются следовать их примеру. Дело это трудное. «Я благоговею перед Кантом, — сообщает Станкевич Мишелю, — несмотря на то, что от него болит у меня голова по временам».[19]

«Как идут твои дела с Кантом? — спрашивает Ефремов Бакунина. — Кто кого одолел? Станкевич напугал меня, он говорит, что не понимает Канта... Страшно! Но что делать?»[20]

Мишель, со своей стороны, сообщил Станкевичу, что не может успокоиться, пока не войдет в дух Канта. Постичь «Критику чистого разума» ему мешали в это время переживания, связанные и с домашними конфликтами. Но, переехав в Москву и создав себе условия для углубленных занятий, Бакунин не стал продолжать работу над Кантом, а перешел на Фихте, чья система взглядов более импонировала ему. Он стал переводить для «Телескопа» лекции Фихте «О назначении ученых», читать с увлечением «Наставления к блаженной жизни» — трактат, где наиболее полно выражено религиозное кредо философа. Станкевич, которому Фихте также был близок, перешел к его изучению весной 1836 года. Направляясь лечиться на Кавказ, он успел прочесть в бричке его работу «О назначении человека».

Чем же так увлекает немецкий философ молодых русских идеалистов? Прежде всего совпадением его взглядов с их собственными, обоснованием и разработкой тех идей, которые волнуют и их.

«Любовь — выше всякого разума, она сама источник разума, она основа реальности и единственный творец жизни и времени; этим я ясно выражаю самую высшую точку зрения учения о бытии, о жизни и блаженстве» — так писал Фихте.

Нетрудно заметить, что это одно из основных положений немецкого философа было весьма близко к приведенным выше размышлениям Бакунина и Станкевича.

Идеи Фихте о необходимости просвещения или пропаганды религиозно-этических взглядов также отвечали стремлениям Бакунина. «Он родился проповедником», — скажет о нем впоследствии Герцен. Учить других, звать их к неведомым горизонтам только что открывшейся ему истины, проповедовать словом и делом — все это было органически свойственно Бакунину. Ему мало было открыть что-то для себя, утвердиться в истине

самому — он должен был непременно создавать себе адептов.

Первой аудиторией, безусловно поверившей ему и готовой следовать его пророчествам, стали его сестры и сестры Беер. Его проповедь выражалась как в устных беседах, так и в весьма объемистых письмах, похожих скорее на философские трактаты.

«Цель жизни, предмет истинной любви — бог, — писал будущий борец против всех форм религии, — не тот бог, которому молятся в церквях; не тот, которому думают нравиться унижением перед ним; не тот, который отдельно от мира судит живых и мертвых, — нет! Но тот, который живет в человечестве; тот, который возвышается с возвышением человека; тот, который языком Иисуса Христа произнес священные слова Евангелия; тот, который говорит в поэте» (т. I, стр. 211).

Общая религиозная направленность не мешает Бакунину отрицать многие ходячие представления — о любви к ближнему и т. д. «Что значит любовь к человечеству? Затверженные слова Евангелия: „Любите друг друга как самих себя“. Любовь к науке? Желание прослыть ученым. Любовь семейная? Привычка и обязанности. Любовь к богу? Боязнь ада и желание рая. Вот вам любовь нашего общества, вот вам и жизнь его» (т. I, стр. 210).

Эти разоблачения первое время не находят отклика среди сестер Мишеля, но сестры Беер безусловно и во всем верят ему, хотя далеко не все понимают. Они готовы следовать не только что теоретической проповеди, но и всем тем практическим советам, которые Мишель дает им. Сердечные дела молодых девушек, их отношения с матерью — все входит в его компетенцию. Вторжение, часто бесцеремонное и настойчивое, в интимную жизнь окружающих его близких людей вообще свойственно Бакунину. Так, он противится браку своей сестры Варвары с Н. Н. Дьяковым, а затем делает все возможное, чтобы развести ее с мужем, так как считает этого доброго, но в общем ограниченного человека неподходящей партией для такой одаренной натуры, как его сестра. Он пытается руководить сердечной жизнью и других своих сестер, особенно Татьяны, которую любит более остальных.

Деятельное же участие в личных, интимных делах Наталии и Александры Беер приводит к неожиданным результатам. Пережив безответную любовь к Станкевичу, Наталия влюбляется теперь в Мишеля. Молодой проповедник в ужасе, так как не может ответить взаимностью, «Ах, мои дорогие, мои друзья, — пишет он несколько позднее своим сестрам, — в душе моей был ад, я почти схватил горячку, я не знал, что делать, я не мог оставить их дома, это было бы низостью, недостойной меня... Я дошел до того, что решил жениться на Наталии... Впоследствии я убедился... что этот брак не мог составить счастья Наталии, ибо ей нужна любовь, а я не могу ей этого дать, ибо не питаю к ней такого чувства» (т. I, стр. 283).

Роман этот кончился так же, как и предыдущая любовь Наталии Андреевны.[21] Ей пришлось довольствоваться платонической дружбой Мишеля; причем, по свидетельству Варвары, она примирилась с этим. «Да, Мишель, — писала ему сестра, — она (Наталия. — Н. П.)будет такой, какой ты желаешь, чтобы она стала. Она так хорошо сознает эту внутреннюю жизнь, которую ты столько ей проповедуешь, она хочет стремиться к этой

небесной гармонии, которую находишь, лишь развивая свои умственные способности. То, что она теперь будет делать из любви к тебе, то она научится, я надеюсь, делать впоследствии из любви к богу».[22]

Способности к абстрактному философскому мышлению, большая энергия и, наконец, обаяние самой личности Бакунина — все это привлекало к нему сердца не только юных девиц. Не могли избежать известного влияния Бакунина и молодые философы из кружка Станкевича, среди которых особое место занимал Белинский.

Виссарион Григорьевич Белинский был старше Бакунина на три года и имел уже в ту пору довольно широкую литературную известность. С 1833 года он сотрудничал в журнале «Телескоп», издаваемом профессором Н. И. Надеждиным. В 1834 году в приложении к журналу появилась и его первая большая статья — «Литературные мечтания», принесшая молодому литератору неожиданную славу.

Небольшого роста, сутуловатый, с неправильными, но очень выразительными чертами лица, большими серыми задумчивыми глазами, Белинский держался скромно, просто и спокойно, хотя видно было, свидетельствует Анненков, «что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу».

Характером он обладал трудным: был непримирим ко всему, что считал не истинным, чрезвычайно резок с идейными противниками. Но эти черты сочетались в нем с удивительной нравственной чистотой, огромным умом и блестящим литературным дарованием.

Багаж философских знаний Белинского был еще невелик. Основу его составляло шеллингианство, заимствованное из вторых рук, от Надеждина и Станкевича.

С Бакуниным Белинский познакомился в 1835 году. Помимо известной общности взглядов, молодых людей объединило сходство их темпераментов. Оба обладали неукротимой энергией, оба были непримиримы к тому, что считали ложным. В вопросах же философских Бакунин был более сведущ. Свободно читая по-немецки, Мишель черпал познания из первоисточника и в беседах, длившихся часто ночи напролет, делился ими с другом.

Впоследствии Белинский так вспоминал о начале их дружбы: «Твоя непосредственность не привлекла меня к тебе — она даже решительно не нравилась мне, но меня пленило движение жизни, беспокойный дух, живое стремление к истине, отчасти и идеальное твое положение к твоему семейству, и ты был для меня явлением интересным и прекрасным... Другие причины завязали еще более нашу дружбу... я стремился к высокому, ты также, следовательно, ты мне друг... Ты перевел несколько лекций Фихте для „Телескопа“, и в этом переводе я увидел какое-то инстинктуальное знание языка русского, которому ты никогда не учился, увидел жизнь, силу, энергию, способность передавать другим свои глубокие впечатления. Я стал смотреть на тебя как на спутника по одной дороге со мной, хотя ты шел своею. Все это еще больше возвысило тебя в моих глазах, — и доляшо было возвысить, — и я все более смотрел на тебя, как на друга». Но было и еще одно обстоятельство, привлекавшее Белинского. «Сверх того, — писал он, — имя твоих сестер глухо и

таинственно носилось в нашем кружке, как осуществление таинства жизни, и я, увидев тебя первый раз, с трепетом и смущением пожал тебе руку, как их брату».[23]

Слухи о сестрах Мишеля, да и обо всем этом замечательном семействе, волновали Белинского, не бывавшего еще в подобном женском обществе.

Вскоре после знакомства Мишель, собираясь в Премухино, пригласил туда и Белинского. «От этого приглашения... у меня потемнело в глазах и земля загорелась под ногами. Но я не умел представить себя в этом обществе, в этой святой и таинственной атмосфере».[24]

В конце лета 1836 года Белинский, наконец, решился посетить обетованную землю Премухина. Станкевич был доволен. «Я уверен, — писал он Неверову, — что эта поездка будет иметь на него благотворное влияние... Как смягчает душу эта чистая сфера кроткой, христианской семейной жизни!.. Семейство Бакуниных — идеал семейства. Можешь себе представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры божьей! Нам надо туда ездить исправляться».[25]

Станкевич был прав. «Премухинская гармония», по свидетельству самого Белинского, стала главной причиной его душевного пробуждения. «Я ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом мире, окрест меня все дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частью проникали в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине: опыт утвердил мою веру».

Сестры Мишеля очаровали Белинского, но особенно он увлекся младшей — Александрой. И хотя впоследствии он признался в том, что чувство это было призрачным и скорее надуманным, чем идущим от сердца, но в то время он был увлечен, и это обстоятельство еще больше увеличивало его скованность в непривычной для него обстановке.

Чувство такта не было сильной стороной Мишеля. В обществе он позволял себе намеки на отношения своего друга к Александре. «Но самые лютые мои минуты были, — писал впоследствии Белинский Бакунину, — когда ты читал с ними по-немецки: тут уже не лихорадку, но целый ад ощущал я в себе, особенно когда ты имел армейскую неделикатность еще подтрунивать надо мной при всех, нисколько не догадываясь о состоянии моей души».[26]

Но, несмотря на все эти обстоятельства, трехмесячное пребывание Белинского в доме Бакуниных имело большое значение для его развития.

«Когда я приехал в Премухино, — писал он спустя год, 21 мая 1837 года, — ты открыл мне новый мир — мир мысли... Ты первый показал и доказал мне, что мышление есть нечто целое, нечто одно, что в нем нет ничего особенного и случайного, но все выходит из одного общего лона, которое есть бог, сам себя открывающий в творении». «Много, много мыслей услышал от тебя первого — ты не навязывал на меня свой авторитет, его наложило на меня могущество твоей мысли, бесконечность твоего созерцания. Много я теперь понимаю глубоко и понимаю через тебя»,[27] — писал он в октябре 1838 года.

Однако личные отношения двух этих людей складывались крайне сложно. Оба были наделены слишком яркой индивидуальностью, для того чтобы жить одной жизнью. Белинский к тому же обладал более тонкой душевной организацией, сложность этой дружбы доставляла ему страдания. Для Бакунина же проблема человеческих отношений в эту пору не играла значительной роли. Та или иная философская система, в которую был он погружен, составляла для него в тот момент основное содержание жизни. «Для тебя идея выше человека» — вот главный упрек, брошенный ему Белинским. «Между нами есть что-то общее — это разрушительный элемент; и в то же время в нас есть что-то противоположное, враждебное: что для меня составляет сущность, значение жизни, то для тебя — хорошо между прочим; основа и цель твоей жизни для меня — хорошо между прочим. С обеих сторон — отчаянная субъективность, и много диссонансов производила враждебная противоположность наших субъективностей. Сила, дикая мощь, беспокойное, тревожное и глубокое движение духа, беспрестанное стремление вдаль, без удовлетворения настоящим моментом, даже ненависть к настоящему моменту и к себе самому... порывание к общему от частных явлений — вот твоя характеристика; к этому надо еще присовокупить недостаток задушевности... нежности, если можно так выразиться, в отношениях с людьми, близкими к тебе. От этого-то тебе так легко было всегда говорить и повторять: „Ну расстанемся так расстанемся“, или: „Коли не так, так и не нужно“ и тому подобное, от этого-то так ты давил собою всех и любовь к тебе всех и всякого была каким-то трудом. По крайней мере я не умею иначе выразить моего чувства к тебе, как любовь, которая похожа на ненависть, и ненависть, которая похожа на любовь».[28]

Надо отдать должное Белинскому — он не только хорошо понимал Бакунина, но и во всех случаях стремился сохранять объективность по отношению к нему. В октябре 1838 года, когда первый период их дружбы завершился разрывом, он писал: «Всегда признавал и теперь признаю я в тебе благородную львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечные чувства, огромный ум, но в то же время признавал и признаю чудовищное самолюбие, мелкость в отношении к друзьям, ребячество, леность, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе насчет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других».[29]

Недостатки эти, однако, не мешали успеху философской проповеди Бакунина. В гостиной ли Бееров, где собирались друзья Станкевича, в доме ли Аксаковых или на Маросейке, где снимали комнату Белинский и Бакунин, над собравшимися часто возвышалась «львообразная» фигура Бакунина, часто ночи напролет звучал его голос, убеждая, доказывая, увлекаая слушателей.

Среди московских литературных салонов немалую роль играл салон Екатерины Гавриловны Левашевой. «То было одно из тех чистых, самоотверженных, полных возвышенных стремлений и душевной теплоты существ, — писал о ней Герцен, — которые излучают вокруг себя любовь и дружбу, которые согревают и утешают все, что к ним приближается. В гостиных г-жи Левашевой можно было встретить самых выдающихся людей России — Пушкина, Михаила Орлова (не министра полиции, а его брата, заговорщика), наконец, Чаадаева, ее самого задушевного друга, адресовавшего ей свои знаменитые письма о России».[30] С 1831 года П. Я. Чаадаев жил во флигеле дома Левашевой на Новой

Басманной. В другом флигеле одно время (1836 г.) снимал квартиру Бакунин. М. К. Лемке полагает, что он немало обязан был своим развитием соседу по флигелю.[31] Никаким материалом, подтверждающим эту мысль Лемке, мы не располагаем, однако бесспорно одно, что Бакунин был действительно частым посетителем вечеров и в доме Левашевой.

Помимо салонов и гостиных, существовало в Москве и еще одно место, где собирались литераторы и артисты. Это была кофейня, расположенная неподалеку от Театральной площади и прозванная литературной. Постоянными посетителями ее были Щепкин, Ленский, Самарин, Кетчер, Катков, Белинский и многие другие. По воспоминаниям А. Д. Галахова, бывал там и Бакунин. Разговорам, дискуссиям, спорам не было конца. Это потом, спустя несколько лет, в 1843 году, мог он с иронией и чувством собственного превосходства писать из Цюриха брату Павлу: «Что Москва? Что Елагина, Грановский, старые молодые профессора? Болтают, чай, не на живот, а на смерть, констатируют от нечего делать, братец ты мой! Эх, народец!» Пока же он сам с огромным пылом предавался этому занятию.

П. В. Анненков пишет, что одно время вообще Бакунин «господствовал над кружком философствующих». «Страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и, наконец, всегда как-то праздничная по форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Бакунина, подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самым идеям, им возвещаемым».[32]

Иначе объясняет влияние Бакунина на окружающих А. И. Герцен. «Бакунин обладал великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому, — пишет он, — причем они нисколько не теряли в своей идеалистической глубине... Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения. И он был всегда готов разъяснять, объяснять, повторять без малейшего догматизма. Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом, священнослужителем. Независимость, автономия разума — вот что было тогда его знаменем, и для освобождения мысли он вел свою войну с религией, войну со всеми авторитетами. А так как в нем пыл пропаганды сочетался с огромным личным мужеством, то можно было уже тогда предвидеть, что в такую эпоху, как наша, он станет революционером, пылким, страстным, героическим. Вся жизнь его была посвящена одной лишь пропаганде».[33] Страсть к пропаганде была врожденной чертой Бакунина. Он, отрицавший впоследствии в споре с Герценом колоссальное значение и силу слова и противопоставлявший слово делу, был всегда величайшим мастером слова, причем не столько печатного, сколько устного, высказанного в горячем споре, когда во что бы то ни стало надо было убедить противника, вселить уверенность в колеблющегося, смелость в слабого. И. С. Тургенев, пытавшийся создать в «Рудине» портрет Бакунина, верно отметил именно эту черту своего героя.

«А что касается до влияния Рудина, — говорил он словами Басистова, — клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания тебя переворачивал, зажигал тебя!»

Сила слова Бакунина, сила его обаяния вдохновила и Константина Аксакова, посвятившего ему восторженные стихи («Молодой крестоносец»), где Бакунин был представлен отважным бойцом за правое дело, за обетованную землю.

“Плащ крестовый знаменитый
Он накинул на плечо,
И горят его ланиты,
Сердце бьется горячо.
Кровь по жилам, точно лава,
Льется пламенной струей, —
Добрый путь тебе и слава,
Крестоносец молодой!..[34]

Что же проповедовал Бакунин?

После Фихте он принялся за Гегеля, «которого методу и логику, — по словам Герцена, — он усвоил в совершенстве и кому не проповедовал он ее потом? нам (то есть кружку Герцена.—Я. П.)и Белинскому, дамам и Прудону».

В 30-х — первой половине 40-х годов Гегель был подлинным властителем дум не только в Германии, где он создал еще ранее целую школу своих последователей, но и во многих странах Европы.

Этот виднейший представитель немецкой классической философии «впервые, — по словам Энгельса, — представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. в непрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития».[35]

Однако философия Гегеля глубоко противоречива. Так, с одной стороны, правильно решая проблему истины, видя ее в историческом развитии человеческого познания, в движении от неполного знания к более полному, Гегель, с другой стороны, пытался представить свою философскую систему как выражение абсолютной истины. Учение Гегеля было подхвачено и поднято на щит как теми, кто в реакционных политических взглядах самого Гегеля и в его идеализме находил оправдание своим воззрениям («правые гегельянцы»), так и теми, кто брал за основу диалектику Гегеля, которая, по образному выражению Герцена, была алгеброй революции («левые гегельянцы»).

«Кто не жил в то время, — вспоминал впоследствии Бакунин, — тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечно искомый абсолют, наконец, найден и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине».[36]

Горячие споры вокруг философии Гегеля стали главным содержанием полемики в московских литературных салонах. «Люди, любившие друг друга, — писал Герцен, —

расходились на целые недели, не согласившись в определении „перехватывающего духа“, принимали за обиды мнения об „абсолютной личности“ и „о ее по себе бытии“. Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах, немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней».[37]

В кружке, над которым, по словам И. И. Панаева, «парила тень Станкевича», после отъезда его за границу Гегель стал главным и единственным предметом изучения. «Один, — писал Панаев, — разбирал не без труда Гегелеву логику, другой читал не без усилия его эстетику, третий изучал его феноменологию духа — все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь».[38]

С Гегелем Бакунин начал знакомиться в первые месяцы 1837 года. Первые месяцы он только читал, летом стал конспектировать. «Феноменология духа», с которой он начал свою работу, показалась ему слишком сложной, отложив ее, он принялся за «Логiku», затем «Философию религии», а потом снова вернулся к «Феноменологии». Шесть раз составлял он конспект первой главы, пока, наконец, смог усвоить сложные построения Гегеля.

Еще в мае 1837 года Бакунин писал сестрам: «Гегель дает мне совершенно новую жизнь. Я целиком поглощен им» (т. I, стр. 428).

В августе, обретя себя полностью «в абсолютном бытии», он перешел к толкованию новых философских истин, и, как всегда, первыми жертвами его пропаганды стали собственные сестры и сестры Беер. «...Я нашел полную истину своего существования, — писал он Наталии и Александре, — и туда я хочу перенести все, что дорого мне в этом мире. О, приходите туда, добрые, восхитительные друзья: только там дышится свободно, только там чувствуешь себя действительно свободным и преображенным. Сестрицы мои в отчаянии, что они так глупы, что, как ни бьются, никак не войдут в абсолютную жизнь» (т. I, стр. 57-58).

Но вскоре Мишель перешел к более широкой аудитории. По свидетельству И. И. Панаева, он «с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей».

Как-то раз Бакунин пришел к Панаеву и принялся толковать ему «о примирении» на совершенно непонятном слушателю философском языке. «Утро было жаркое, — вспоминает Панаев, — пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом».[39]

Если Бакунин был главным теоретиком гегельянства в кружке Станкевича, то Белинский был первым его учеником в догматическом толковании отдельных положений немецкого философа, превзошедшим, как увидим дальше, своего учителя. В учении Гегеля, а главным образом в его знаменитом положении «все действительно разумно, все разумное действительно», Бакунин, а вслед за ним и Белинский нашли, казалось им, ответ на все

волнующие их вопросы.

Это глубоко противоречивое высказывание Гегеля вызывало различные его толкования.

А. И. Герцен вернее других понимал эту формулу, полагая, что она выражает лишь закон причинности и вполне вмещается в рамки исторического детерминизма. Но среди современников Герцена многие склонны были рассматривать гегелевскую формулу буквально и крайне односторонне, обожествляя и превознося существующую действительность.

«Понять и полюбить действительность — вот все назначение человека», — толковал Бакунин сестрам.

Все, что разумно, то «благо и прекрасно», а разумна существующая действительность.

Свои восторги по поводу этой действительности Бакунин и изложил в статье — предисловии к «Гимназическим речам» Гегеля, переведенным и опубликованным им в журнале «Московский наблюдатель», редактируемом Белинским.

«...Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности, — пишет Бакунин. — Восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же. Примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени... Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны.

...Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашей прекрасной русской действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительно русскими людьми» (т. II, стр. 177-178). Так писал в 1838 году будущий революционер, один из отважных борцов против «гнусной российской действительности».

Как случилось, что Бакунин и особенно Белинский (который пошел в восхвалениях всего существующего еще дальше своего друга) — люди, безусловно, честные — могли стать на эти позиции, поднять знамя борьбы против всякой критики существующего, против всех форм проявления какого бы то ни было либерализма? Причем оба они не были одиноки, напротив, они лишь выражали мнение всего кружка философствующих. «Дурно понятая фраза Гегеля, — писал по этому поводу Герцен, — сделалась в философии тем, чем некогда были слова христианского жирондиста Павла: „Нет власти, как от бога“».[40]

Но ведь были вокруг и другие люди и другие мнения. Ведь понял же Герцен, что если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него оправдана.

Но в том-то и было различие двух течений общественной мысли конца 30-х — начала 40-х годов, что одно из них — политическое, представленное Герценом и его кругом, — шло от

конкретных задач борьбы с существующей действительностью; другое — аполитичное — шло от абстрактных поисков абсолютной истины, от абстрактного гуманизма.

Любовь к людям, к человечеству, о которой столь много говорили и писали Бакунин и его друзья, не была любовью действенной, любовью к конкретному русскому мужику, задавленному и униженному крепостной действительностью. Пренебрежение действительностью, политический индифферентизм дают горькие плоды. Человек, уходящий все дальше в область чистой мысли, теряет ориентацию в мире, его окружающем, и, возвратившись на землю, нередко путает правое с левым. Так случилось и с молодыми московскими философами.

Проблема «примирения с действительностью» лишь вначале понималась друзьями одинаково. По свидетельству Герцена, Бакунин ранее Белинского стал ощущать ложность подобного толкования Гегеля. «Революционный такт толкал его в другую сторону».

С Герценом Бакунин познакомился в 1839 году, близко же сошелся весной 1840-го. Герцен вернулся тогда из первой ссылки. Москва за его отсутствие стала иной. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Из прежних его друзей лишь Н. П. Огарев, Н. Х. Кетчер и Н. М. Сатин были налицо. «Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом гегелевской философии в руках и с юношеской нетерпеливостью, без которой нет кровных, страстных убеждений».

Дружески сойдясь с Герценом, Бакунин и его попытался обратить в свою веру. «Мы провели вместе год, — писал Герцен, — Бакунин все более и более побуждал меня к изучению Гегеля; я же пытался внести в его суровую науку побольше революционных элементов».[41] Возможно, что в 1839–1840 годах известное влияние Герцена и сыграло свою роль. Однако еще осенью 1838 года Бакунин стал не столь прямолинейно относиться к проблеме действительности.

Обстоятельства личного порядка заставили его серьезнее призадуматься о жизни и о своем назначении в ней. В августе 1838 года он впервые столкнулся со смертью близкого человека. Умерла его сестра — Любаша. Эта юная девушка, исполненная, по словам Анненкова, «кроткой прелести», прожила недолгую жизнь. Ее любовь к Станкевичу, завершившаяся их обручением, не принесла ей счастья. Став женихом девушки, которую он, как казалось ему, любил, Станкевич начал сомневаться в полноте своего чувства к ней. «Я надеялся сделаться счастливым, счастливым безгранично, — писал он Неверову, — и думал получить это счастье внешним образом. Любовь — ведь это род религии, которая должна наполнить каждое мгновение, каждую точку жизни».[42] Но такого с ним не произошло. Измученный сомнениями и тяжелой болезнью, он уехал сначала на Кавказ, а потом осенью 1837 года за границу. Болезнь (туберкулез легких) Любаши развивалась стремительно, но письма Станкевича поддерживали ее. «Тотчас получила письмо ваше, — писала она 2 декабря 1838 года, — так весело, так светло сделалось на душе. Оно придало мне сил, здоровья — это лучшее лекарство».[43] Но лекарство это приходило все реже и реже. «Когда-то я получу от вас письмо? — писала она незадолго до смерти. — Бог знает, что я передумала в эти два месяца вашего молчания».[44]

Смерть Любоми Александровны потрясла не только членов семьи Бакуниных, но всех их друзей. «Да, ее смерть — это откровение таинства жизни и смерти, — писал Белинский Мишелю. — Да, благодарность небу! Я знал, я видел ее, я знал великое таинство жизни не как предчувствие, но как дивное гармоническое явление... Мой милый, как бесконечно, как глубоко люблю я тебя в эту минуту. Не говори мне, что мы разошлись с тобой. Крепка наша связь, неразрывна, пока мы будем расходиться только в болезнях наших индивидуальностей».[45]

«Индивидуальности» сказались тут же и выразились в острой полемике по вопросу о действительности. Трагическое событие, происшедшее в семье, заставило Бакунина серьезнее посмотреть на реальную жизнь. Он понял, что «отвлеченный идеализм, отвлеченная любовь» и «проза жизни» — разные вещи, что «идеальный дух» не знает ни жизни, ни самого себя, а «узнать себя можно только в осуществлении, в действительности» (т. II, стр. 202). Сама же действительность не казалась ему более достойной слепого поклонения.

Еще в конце августа Бакунин писал Белинскому: «Между нами явился новый предмет для полемики, — да, для полемики, будем называть вещи своими именами» (т. II, стр. 198). Этим предметом и была проблема действительности. Белинский, продолжая восхвалять действительность, упрекал Бакунина в слабости, в уступках, в непоследовательности. Признавая, что Бакунин сильнее его в теоретическом плане, тут же писал о том, что практически он не может «жизнью осуществить свои понятия».

«— Почему знать? — отвечает Бакунин. — Может быть, я нашел бы в своем запасе трансцендентальностей и логических штук такие доказательства, которые могли бы потрясти даже твою страшную действительность с ее стальными зубами и когтями» (т. II, стр. 204). В этих словах звучит не только ирония в отношении представлений Белинского, здесь заложена возможность иначе, не столь прямолинейно, понять «трансцендентальности» и «логические штуки» гегелевской системы.

Итак, уже в 1838 году у Бакунина появились элементы критического отношения к «всеобъемлющей и всеобъясняющей» формуле Гегеля. Год спустя, по свидетельству Герцена, Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться. Характерно, что похожее впечатление произвел Бакунин осенью 1839 года и на Т. Н. Грановского. 28 ноября он писал Станкевичу, что Мишель «стал смирнее и не так резок и абстрактен, как прежде».[46]

Но с Белинским ничего подобного пока не произошло, напротив, он пока все дальше и дальше шел вперед по пути обожествления действительности, отрицания в литературе и искусстве всего того, что не отражало эту повседневную действительность.

Непримиримость Белинского, его резкие выпады против всех, кто не разделял его взглядов, привели к распаду дружественного круга людей, к ссорам его с Бакуниным, Катковым, Боткиным. Впрочем, с Бакуниным дело было сложнее. Здесь виноваты были оба, и оба во взаимных оценках, которые они высказывали в письмах к Станкевичу, были в чем-то правы.

«С Мишелем я расстался, — писал Белинский Станкевичу. — Чудесный человек, глубокая, самобытная, львиная природа! — этого у него нельзя отнять; но его претензии, мальчишество, офицерство, бессовестность и недобросовестность — все это делает невозможным дружбу с ним. Он любит идеи, а не людей, хочет властвовать своим авторитетом, а не любить».[47]

В свою очередь, Бакунин писал Станкевичу о Белинском: «Грустно за него, в нем так много благородного, так много святых элементов; его душа — широкая душа. Знаешь ли, Николай, страшно смотреть на него; да, я живо чувствую, что, несмотря на все его несправедливости ко мне, несмотря на грязное проявление этих несправедливостей, я не перестал любить его, не перестал принимать в нем самое живое участие» (т. II, стр. 242).

Один из главных источников расхождений в дружеском кругу заключался в непримиримом характере «неистового Виссариона». Вскоре он рассорился не только с Бакуниным, но и с Боткиным, которого горячо любил и в противоположность Бакунину считал натурой, отвечающей его представлениям о любви и дружбе.

Василий Петрович Боткин был сыном богатого московского купца, ведшего большую торговлю чаем. Отец не дал ему возможности получить университетское образование, а сразу же после окончания пансиона заставил молодого человека вести торговые дела. Однако стремление к знаниям и неплохие способности помогли молодому Боткину преодолеть недостатки образования. Проведя день в чайном амбаре, вечером он усиленно читал, совершенствовал свои познания в немецком и французском языках. Путешествие в 1835 году в Европу, знакомство с новейшими философскими учениями завершило его образование. Вернувшись в Москву, он познакомился с Белинским, который и ввел его в круг Станкевича. Друзья часто собирались в доме Боткиных. В беседке, находившейся в саду, он устроил изящный летний кабинет, где, по свидетельству П. В. Анненкова, проводил все свободные часы, окруженный многочисленными изданиями Шекспира и комментариями на него европейских исследователей. Последнее обстоятельство объяснялось тем, что Боткин работал тогда над статьей о Шекспире.

Боткин близко сошелся с Бакуниным. Стиль, которым изъяснял он Мишелю свои дружеские чувства, был весьма характерен для идеалистов 30-х годов. «Я, Миша, понял и сознал в тебе то, что составляет святую сущность твоей жизни... И я люблю тебя в этой таинственной сущности твоего бытия, и с нею, с этой сущностью, составляющей твое истинное „я“, навсегда я чувствую себя соединенным». Далее шел уже текст более конкретный, говорящий о том идейном влиянии, которое испытал Боткин от общения с Бакуниным. «...Через тебя первого узнал я те идеи, от которых спала повязка с моих глаз и я вошел в свободную сферу бытия...»[48]

Боткин стал частым гостем в Премухине. Вскоре у него завязался роман с сестрой Мишеля — Александрой. Любовь, казалось, была взаимной, но Бакунины не давали согласия на этот брак и пока просили Боткина подождать год. Василий Петрович «страдал», писал отчаянные и «страшные», по словам Т. Н. Грановского, письма невесте, а тем временем весело проводил время в кругу московских друзей.

«Вчера мы с ним были на вечере у Огаревых, — сообщал Грановский. — Очень весело было. Была музыка: играли квинтеты Бетховена и Гебеля... и потом играли комедию, в которой Боткин с достоинством представлял сержанта. В заключение Катков прочел приличное *Gelegenheitsgedicht* (подходящее к случаю. — Н.П.), в котором говорилось о всех участниках в этом празднике, о Боткине:

“ Лицо от радости блистает,
Но не от радости чело:
Оно безрадостно блистает,
Оно безрадостно светло». [49]

Подобные увеселения ранее были редкими в среде друзей Станкевича. Но теперь, когда кружок идеалистов распадался, когда появились новые люди, когда не было более, по существу, обособленных кругов Герцена — Огарева, Станкевича, а литераторы, философы, историки и журналисты разных в прошлом и в будущем направлений собирались в одних и тех же домах, — жизнь приобрела иной колорит.

Друзья Станкевича и друзья Герцена часто бывали вместе в гостеприимном доме М. С. Щепкина, собирались у Аксаковых, у Боткина, у Огарева. А однажды, как рассказывает Грановский, вся компания, где были и Бакунин, и Боткин, и многие другие, после бала в Дворянском собрании отправилась на веселый ужин, где Крюков предложил тост за категории гегелевской логики. «Я удрал, — пишет Грановский, — когда еще стояли в сфере *Wesen* (1-я часть логики), но Боткин *der hat bis zu der Idee gebracht*. [50] А весело было — кутили как-то от души». [51]

Белинский не принимал тогда участия в этих развлечениях. Он совсем «оторвался от нас, — жаловался Бакунин Станкевичу, — я, Боткин и Катков сделались предметами его ненависти; и если верить его словам, то он даже презирает меня и Боткина» (т. II, стр. 239). Ближе легкомысленного в общем Боткина для Бакунина в конце 30-х годов был М. Н. Катков. Белинский тоже был с ним в дружеских отношениях. В ноябре 1837 года он писал Бакунину: «Славный малый — он далеко пойдет, потому что уже и теперь у него убеждение в мире с жизнью. Голова светлая, сердце чистое — вот Катков». Но у «славного малого» была одна особенность, которая, по словам Белинского, «дико поражала его». Это были глаза Каткова — «зеленые и стеклянные». [52] Бакунин же этой особенности не замечал. Его объединяли с Катковым философские поиски «внутреннего идеального мира». «Этим идеальным миром, — писал Бакунин, — должна быть, по крайней мере для меня, религия и философия, как единственно удовлетворяющие формы познания истины, а я крепко верю словам Спасителя: „И познайте истину, и истина освободит вас“» (т. II, стр. 244).

Потребность знания, «жажда ничем не удовлетворенная», как говорил Мишель, звала его в Берлин, в эту Мекку всех философов того времени. Он ждал от него «перерождения, крещения от воды и духа». Внутренняя неудовлетворенность, сложности характера, приводившие к ссорам с друзьями, стремление к деятельности при отсутствии возможности приложить к подлинному делу свои силы — все это создавало невыносимые для Бакунина

условия жизни, заставляло его искать средства для поездки за границу.

Тонкий наблюдатель, Т. Н. Грановский, относившийся к людям без восторженности Боткина и резкостей Белинского, дал любопытную характеристику Мишелю: «в науке он может совершить великое, ...но в сферах деятельной жизни он пикуда не годится. Для него нет субъектов, а все объекты — чудная натура! Может быть, без этих недостатков она не была бы так сильна. Любить его теплым чувством нельзя, но он у каждого вынудит удивление, уважение и участие. Что из него будет? Дай бог ему скорее попасть в Берлин, а оттуда в определенный круг деятельности — иначе его убьет внутренняя работа. Разлады с собой и с миром у него каждый день сильнее...»[53]

Но с поездкой дело обстояло плохо. Денег не было. И пока шли хлопоты о средствах на путешествие, Мишель отправился в Петербург с целью добиться там разрешения на развод его сестры Варвары с мужем ее Дьяковым. Эта борьба «за освобождение Вареньки», которую с таким пылом вел Мишель, вообще занимала у него массу времени и стоила множества неприятностей в семье. Главная инициатива этого «освобождения» исходила не от Вареньки, а от Мишеля. Причем шаги, им предпринимаемые, часто были весьма фантастичны. Так и поездка в Петербург без всякого официального полномочия не могла, естественно, дать никаких результатов.

Однако Бакунин прожил в столице четыре месяца (с 16 июля до 14 ноября 1839 года). Он познакомился для Варенькиных дел с Л. В. Дубельтом, а для собственных литературных планов с редактором «Отечественных записок» А. А. Краевским, возобновил свои связи с семьей Муравьевых, сначала примирился, затем снова поссорился с переехавшим в Петербург Белинским. По свидетельству А. Я. Панаевой, Бакунин в эти месяцы часто бывал у них в доме, где собирались Белинский, Н. В. Кукольник, И. П. Сахаров, К. П. Брюллов и др., по своему обыкновению знакомил этот кружок с сочинениями тогдашних немецких философов. «Бакунин был замечательным диалектиком, и я заслушивалась его из своей комнаты, отделявшейся только драпировкой от кабинета».[54]

За время, проведенное в Петербурге, Бакунин ничего не смог сделать для того, чтобы добыть денег на поездку в Берлин. Тогда 22 марта 1840 года он пишет длинное и весьма красноречивое письмо родителям, суть которого сводится к двум пунктам:

«1. Прошу Вас позволения ехать в Берлин.

2. Прошу Вас дать мне средства к совершению этой поездки».

Вскоре от Александра Михайловича приходит ответ нравоучительный и, как всегда, колоритный по стилю: «Письмо твое, друг мой Михайло Александрович, от 22 марта мы получили, и вот ответ наш, которого, по словам твоим, ожидаешь ты с каким-то новым страхом, опасаясь, чтоб просьба твоя о денежном пособии не умножила еще нашего к тебе презрения — за преступные поступки, в которых мы, по недостатку любви, тебя обвинили. Мы по врожденному чувству родительской любви не переставали тебя любить, несмотря на все твои не преступные, а совершенно безрассудные поступки. Ты, как новый Дон-Кихот, влюбился в новую Дульцинею и, увлекаясь мечтательными ее прелестями, совершенно

позабыл все твои обязанности. Ты неоднократно повторял нам, что мы тебя не понимаем, но я, к сожалению своему, вижу, что именно ты не понимал нас и не понимал потому, что не понимал святой любви, в недостатке которой ты нас упрекаешь. Любовь точно так же мертва без дел, как и вера».[55] Далее Александр Михайлович соглашается с намерением Мишеля продолжать образование в Берлине, но сообщает, что денег в настоящее время дать не может и лишь обещает их в будущем по 1500 рублей в год.

Письмо это приводит Мишеля в отчаяние. Ехать он хочет немедленно, не ожидая поправки семейных материальных обстоятельств. Из приятелей лишь один Герцен обещал ему ссудить денег, и вот теперь он пишет ему: «Ты видишь, Герцен, что я обращаюсь к тебе прямо и просто без всяких околичностей и отложив в сторону все 52 китайские церемонии. Я делаю это потому, что я беру у вас деньги не для удовлетворения каких-нибудь глупых и пустых фантазий, но для достижения человеческой и единственной цели моей жизни».[56] Герцен ответил, что он ссужает Бакунину 2000 рублей на неопределенное время. Так главный денежный вопрос был решен.

В конце мая 1840 года Мишель поехал в Премухино, пробыл там месяц перед отъездом в чужие края, а затем направился в Петербург. Билет на пароход был куплен заранее, и Бакунин успел лишь три дня провести в столице, но и эти дни были омрачены для него весьма скверной историей, происшедшей между ним и Катковым. Возможно, что известная бесцеремонность Мишеля в отношении чужих тайн сыграла здесь свою роль. Так или иначе, но по приезде в Петербург он был обвинен Катковым в том, что будто бы рассказывал московским знакомым о его романе с М. Л. Огаревой. Объяснение, происходившее на квартире Белинского и в его присутствии, кончилось тем, что Бакунин стукнул Каткова палкой по спине, а тот его ударил по лицу. После этого Мишель вызвал обидчика на дуэль, но на другой день одумался и послал ему записку с просьбой перенести место действия в Берлин, так как по русским законам оставшийся в живых поступает в солдаты. Так дело было отсрочено и, по существу, замято, но все общие приятели: И. И. Панаев, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев, В. П. Боткин, Языков — были в этом инциденте на стороне Каткова. Лишь Герцен держал нейтралитет, хотя и вынес впечатление, очевидно из этого случая, о «дурном характере» Бакунина.

Во всяком случае, 4 октября 1840 года, когда Бакунин покидал пределы своей родины, один лишь Герцен провожал его до Кронштадта. «Я расстался с ним, — писал он много лет спустя, — и до сих пор еще в моей памяти сохранилась его высокая и крупная фигура, закутанная в черный плащ и яростно поливаемая неумолимым дождем, помню, как он стоял на передней палубе парохода и в последний раз приветствовал меня, махая мне шляпой...»[57]